

В ПАЛАНГЕ

Коньяк в графине — цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубает якоря
всему, что неподвижно и статично.

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытятся.
Храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис.

Пустые пляжи чайками живут.
На солнце сохнут пестрые кабины.
За дюнами транзисторы ревут
и кашляют курляндские каминьки.
Каштаньки в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины.

К чему вся метрополия глуха,
то в дюжине провинций переняли.
Поет апостол рачьего стиха
в своем невразумительном журнале.
И слепок первородного греха
свой образ тиражирует в канале.

Страна, эпоха — плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают «три»,
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,
колокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги,
бесстыдно обнажаясь до кости,
заводят разговор о бумеранге,

то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной Паланги.

Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог,
ушедший в свою собственную спесь,
бредет, зажав фаянсовый осколок.
И если сердце разорвется здесь,
то по-литовски писанный некролог

не превзойдет наклейки с коробка,
где брякают оставшиеся спички.
И солнце, наподобье колобка,
зайдет, на удивление синички
на миг за кучевые облака
для траура, а может, по привычке.

Лишь море будет рокотать, скорбя
безлично — как бывает у артистов.
Паланга будет, кашляя, сопя,
прислушиваться к ветру, что неистов,
и молча пропускать через себя
республиканских велосипедистов.

осень 1967